

18+

Валентина Селезнёва

Новая я



Валентина Селезнёва

Новая я

<https://litres.ru/74152513>

ISBN 9785007015363

Аннотация

Она смотрит в зеркало и не узнаёт себя. Внутри — только пустота и серый снег. Мама отправляет её в лагерь «Новая Я», где обещают «пересобрать» личность за 21 день. Здесь она встречает Игната с его кривым драконом и Аню, которая боится всего на свете. Вместе они узнают, что скрывается за стенами корпуса Б. И делают выбор: остаться удобными куклами или сбежать с конвейера, чтобы снова научиться чувствовать, даже если больно, даже если страшно.

Содержание

Глава 1. Зеркальный незнакомец	5
Глава 2. Матрица достижений	27
Глава 3. Добро пожаловать в реальность	46
Глава 4. Первичный отсев	72
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Новая я

Валентина Селезнёва

© Валентина Селезнёва, 2026

ISBN 978-5-0070-1536-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Зеркальный незнакомец

Я застыла перед зеркалом двадцать три минуты назад. Откуда такая точность? На полу в коридоре валяется телефон — я включила секундомер, прежде чем сделать этот шаг. Зачем? Затем, чтобы поймать хоть какое-то доказательство того, что время вообще существует, что оно течет, движется, утекает сквозь пальцы, даже если внутри меня все застыло намертво, даже если это не я его засекаю, а кто-то другой, кто еще помнит, зачем нужны минуты и часы.

За окном — сентябрьское утро, серое и равнодушное, точно такое же, как все предыдущие, как те, что ждут впереди. Мамина подошла ко мне, чмокнула в макушку (запах ее духов — теплый, с горчинкой, я запомнила его навсегда, даже когда не помню себя), сказала «не опаздывай», хлопнула дверью. Все эти звуки долетали до меня будто сквозь толстый слой ваты, которой обкладывают елочные игрушки в коробке или сквозь воду. Я часто теперь чувствую себя так, словно лежу на дне глубокого бассейна, застывшая, оглушенная давлением, а вся настоящая жизнь плещется где-то далеко на поверхности, ее голоса и смех доносятся искаженными, и доплыть до нее — невозможно, не хватит дыхания.

В зеркале — девушка. Рассматриваю ее, как незнакомку в витрине. Знаю, что это должна быть я, потому что на ней моя старая футболка с прыгающим безликим героем Мияд-

заки — та, что я ношу дома, въевшаяся в тело, мягкая, почти протершаяся до дыр на животе, и которую мама ненавидит лютой ненавистью, при каждом взгляде цедя сквозь зубы, что в шестнадцать лет пора бы выглядеть прилично даже в собственном доме. У девушки мои волосы — длинные, русые, вечно спутанные на затылке в колтуны после ночных метаний по кровати. У нее мои веснушки — те, что я ненавидела в детстве, выводя их лимонным соком, а теперь мне все равно, ровно настолько, насколько может быть все равно чужому человеку. У нее мои глаза.

Но это — не я.

Поднимаю руку. Девушка в зеркале, чуть помедлив, словно проверяя связь, поднимает свою. Кривлю рот в натужной, экспериментальной улыбке — она кривит в ответ, как примерная ученица перед зеркалом. Делаю шаг вперед, почти касаюсь носом холодной, чуть запотевшей от моего дыхания поверхности. Она делает то же самое, и мы замираем, разделенные миллиметром стекла. Идеальная синхронизация: механическая, заводная. Точно нас дергают за одни и те же нитки невидимый кукловод, притаившийся в щели между мирами.

Но я совершенно не чувствую, что эти движения — мои. Словно я только смотрю трансляцию, а пульт давно не у меня.

Вы когда-нибудь пробовали поймать себя врасплох? Резко, воровато повернуться к зеркалу, чтобы подсмотреть тот

самый миг, когда лицо еще не успело натянуть дежурную маску для выхода в люди? Я пробовала. Тысячу раз. Отворачиваюсь, считаю про себя до трех, затаив дыхание, и потом — бац! — впиваюсь взглядом в отражение. И каждый раз вижу одно и то же: чужие глаза, которые смотрят на меня с вежливым, чуть настороженным любопытством. Как будто мы случайно встретились взглядами в переполненном лифте и теперь делаем вид, что не рассматриваем друг друга, пока едем с шестнадцатого на первый.

— Привет, — мой голос, хриплый с утра и от долгого молчания (со вчерашнего вечера я почти не разговаривала, только кивала), скребет по тишине ванной. — Ты кто?

Девушка в зеркале шевелит губами, беззвучно проговаривая то же слово. Спрашивает меня. Я отворачиваюсь первой — не выдерживаю этого беззвучного допроса.

В ванной комнате плотно, навязчиво пахнет маминым гелем для душа — «свежая мята», его огромные бутылки она скупает на распродажах, чтобы хватило на полгода вперед. Запах резкий, химически-бодрящий, призванный вышвыривать нас по утрам из объятий Морфея. Меня же он просто раздражает, лезет в нос незванным гостем, противно напоминает, что прямо сейчас я должна чувствовать себя бодрой и готовой к новому дню, полному свершений, а я не чувствую ничего. Пустота, звенящая в ушах.

Смотрю на свои руки. Они лежат на холодном, чуть влажном краю раковины. Хорошие руки, обычные, девичьи.

Пальцы в синей засохшей краске — вчера, в приступе отчаяния, пыталась рисовать, надеясь заткнуть этой возней зияющую дыру внутри. Не помогло, конечно. Краска просто легла на бумагу мертвыми пятнами. На запястье — старая, выцветшая резинка для волос, которую я обыскала всю неделю. Сжимаю пальцы в кулак. Ногти больно впиваются в ладонь. Хорошо. Значит, я все-таки существую в какой-то физической, осязаемой реальности. Боль — единственное, что пробивается сейчас сквозь ватную броню. Единственное доказательство моего бытия.

Включаю воду, ледяную, почти обжигающую, и жадно умываюсь, растирая лицо. Смотрю в раковину, как вода закручивается в тугую воронку и с бульканьем утекает в черную дыру слива. До дрожи хочется залезть в эту воронку, стать тоньше, текучей, и утечь вместе с ней. Стать частью чего-то, что движется, что имеет цель, пусть даже самую глупую и примитивную — в общую трубу, потом еще куда-то, в очистные, в реку, в конце концов, в море. У воды есть круговорот, понятный и незыблемый. У нее есть цикл. А у меня?

Мама говорит, это переходный возраст. Гормоны пляшут, как бешеные. Надо больше гулять на свежем воздухе, записаться в спортзал, влюбиться наконец, как все нормальные подростки. Классная руководительница, заглядывая в глаза с притворной заботой, твердит, что я стала рассеянная, витаю в облаках, и мне пора собраться, потому что одиннадцатый класс — это вам не шуточки, это выбор будущего, это, мать

его, ЕГЭ. Подружки... бывшие подружки, потому что с ними тоже как-то... не срослось в этом учебном году, говорят, что я слишком много загоняюсь по пустякам и надо просто расслабиться и ловить кайф, пока молодые, пока спрос небольшой.

Они все говорят. А я слушаю и киваю в такт. И улыбаюсь там, где положено по сценарию. И даже иногда отвечаю что-то правильное, социально одобряемое, типа «да, ты права» или «ну, я подумаю над твоими словами». И они верят. Кивают с облегчением. Потому что снаружи все выглядит вполне прилично. Варя, шестнадцать лет, учится вроде бы без троек, не курит, не пьет, из дома не сбегает, маму слушается. Ну, подумаешь, задумчивая стала. Что с ней может быть такого серьезного?

А внутри — пустота. Даже не пустота, а такое серое, бесструктурное марево, как в старом ламповом телевизоре, который уже не ловит ни одного канала, а только показывает помехи — рябь и шипение. Я смотрю на мир через этот телевизор, и все в нем кажется плоским, картонным, ненастоящим, декорацией к фильму, который идет без меня. Люди говорят — я слышу механические звуки. Люди смеются — я вижу, как открываются их рты, обнажая зубы. Я прекрасно помню, что должна чувствовать в эти моменты: радость, грусть, злость, обиду. Я помню, каково это было раньше, в той, другой жизни, где я была живой. Но теперь эмоции приходят ко мне с большой задержкой, как слабое эхо в горах.

Или не приходят вовсе.

Вчера, мучая себя, включила фильм, который раньше обожала до слез. «Тайна Коко». Про мальчика, который мечтал о музыке, про память, про то, что пока о тебе помнят — ты существуешь. В детстве я рыдала в голос в конце, когда прабабушка Сосо поет «Remember Me» вместе с Мигелем. А вчера я просто тупо сидела и смотрела на цветные движущиеся картинки, пока они сменяли друг друга. Глаза остались сухими, как песок в пустыне. Внутри — та же ровная, безнадежная тишина. И тогда мне стало по-настоящему страшно. Не от фильма — от себя самой. Что, если я безвозвратно сломалась? Что, если та важная деталь внутри, которая отвечает за чувства — назовем ее, как ни пафосно это звучит, душой, — просто взяла и перегорела, как лампочка Ильича в подъезде? И теперь все, потемки.

Выключаю воду. Вытираю лицо пушистым махровым полотенцем, оно пахнет мамой, домом и тем самым гелем для душа. Заставляю себя снова взглянуть в зеркало, быстро, чтобы не успеть испугаться собственного взгляда. Девушка там все еще на посту. С мокрыми волосами, прилипшими ко лбу темными прядями. С синевой под глазами, которую не скрыть никаким тональником. С пустотой во взгляде, которая страшнее любой боли.

— Ладно, — говорю я ей, хватаясь за дверную ручку. — Увидимся.

Она беззвучно, одними губами, выдыхает в ответ: «Уви-

димся».

Я выскальзываю в коридор первой. Потому что, кажется, если промедлю еще секунду, стекло треснет и она шагнет ко мне. Или я к ней. И уже не разобрать будет, кто из нас настоящий.

— —

В школе хуже всего — бесконечные коридоры, уходящие в перспективу, как в страшном сне, с рядами одинаковых желтых шкафчиков и вечно спешащими, галдящими толпами. Я иду по этому людскому потоку, и мне кажется, что не иду, а плыву против течения, загребая руками воздух. Все движется быстрее, громче, ярче, задевают рюкзаками, выкрикивают приветствия. Девчонки визжат, обсуждая что-то свое, мальчишки гоняют друг друга по инерции, учителя цокают каблучками, разнося по этажам запах кофе и классных журналов. А я как в замедленной съемке, как плохо отрегулированный кадр. Как будто звук во мне приглушили, оставив только монотонный гул собственной крови в ушах.

— Варька! Здорова!

Ленка. Мы дружили, кажется, с пятого класса, сидели за одной партой, делили одну булку с повидлом на двоих в столовой, ночевали друг у друга с разговорами до утра. Ленка прекрасно знает, что я терпеть не могу, когда меня называют Варька. И продолжает называть. Проверяет, наверное, теплится ли во мне еще хоть что-то живое. Есть ли я вообще.

— Привет, — выдавливаю из себя. Улыбаюсь. Уголки губ

поднимаются по накатанной схеме, автоматически, без малейшего участия коры головного мозга. Даже мышцы лица, оказывается, могут жить своей отдельной, автономной жизнью.

— Ты чего кислая такая? Контрольную по алгебре завалила, что ли? — Ленка бесцеремонно заглядывает мне в лицо, пытаюсь нашарить реакцию. Она вся сегодня яркая до ряби в глазах: волосы выкрашены в розовый на концах, джинсы с модными дырками, глаза горят живым, неподдельным интересом к жизни. Она — живет. А я смотрю на нее и думаю об одном: каково это — чувствовать свое существование каждой клеточкой, каждой ворсинкой?

— Не выпалась, — привычно пожимаю плечами. Старая, проверенная отмазка. Работает безотказно.

— Слушай! — Ленка заговорщически понижает голос и хватается меня за руку. Рука у нее сухая и горячая. Моя — холодная, липкая, как у лягушки. — Ты слышала про Пашку?

Пашка. Учится в параллельном классе, через стенку. Высокий, нагловатый, вечно с гитарой наперевес. В прошлом году я была в него влюблена по-настоящему, до противной дрожи в коленках, до дурацких, пафосных стихов, которые потом стыдно перечитывать в заметках телефона, до бессонных ночей, где я с маниакальным упорством прокручивала в голове каждую его оброненную мимоходом фразу, каждую случайную улыбку. Я помню это чувство — когда видишь его в конце коридора, и сердце сначала проваливается в пятки, а

потом начинает колотиться где-то в горле, и ты заливаешься краской, и прячешь глаза, и одновременно надеешься, что он посмотрит, и ужасно боишься этого взгляда. Это было год назад, в какой-то другой, совершенно чужой жизни.

— А что с ним? — спрашиваю вежливо, потому что по всем правилам жанра надо спросить.

— Он с Катькой из десятого «Б» встречается! Представляешь? Вчера на бульваре их видели, они целовались! — Ленка аж подпрыгивает на месте от переизбытка чувств, от важности добытой информации. — А ты же в него была конкретно втюхана! Ты как?

Я смотрю на Ленку. Она ждет бурной реакции. Ждет, что я сейчас расстроюсь до слез, или разозлюсь, или побегу рвать Катьке ее крашенные патлы. Так положено по законам жанра. Так работает нормальный мир, где чувства — это валюта.

Я прилежно роюсь внутри себя, нащаривая в серой мгле хоть какую-то эмоцию. Там по-прежнему тихо и пусто, как в давно нежилой квартире, из которой вынесли всю мебель, оставив только голые стены. Пашка с Катькой? Ну, ок. Пашка с Катькой. А я стою посреди школьного коридора и вдруг понимаю, что мне холодно, хотя батареи жарят на полную, и эти лампы дневного света жужжат как-то особенно раздражающе, противно, на одной ноте.

— Да нормально все, — слышу свой чужой голос. — Это же было в прошлом году.

Ленка смотрит на меня с недоумением, которое быстро

сменяется подозрением, а потом и легкой обидой — я не оправдала ее ожиданий, испортила спектакль.

— Ты странная в последнее время, Варь, — выносит она вердикт. — Сама не своя.

«Сама не своя». Если бы она только знала, до какой степени буквально, до какой тошнотворной точности это выражение. Я не просто «не своя». Я — вообще никакая.

— Устала просто, — снова натягиваю дежурную улыбку. — Ты мне лучше скажи, по алгебре что на завтра задали?

Ленка еще секунду буравит меня взглядом профессионального следователя, но природное любопытство и страсть к сплетням побеждают. Она выдыхает и начинает простран- ный и путаный рассказ про дурацкие логарифмы, которые нам задали. Я киваю, вставляю «ага» и «ничего себе» с интонациями запрограммированного робота, а сама краем сознания отмечаю, что сегодня пятница, а впереди целых два выходных дня, и я совершенно не представляю, чем их заполнить, чтобы это тоскливое серое марево не засосало меня с головой окончательно. Раньше, в той, другой жизни, я любила рисовать. Потом любила читать, уходя в книги с головой. Потом — гулять одна в парке, слушая музыку в наушниках, отключаясь от мира. Теперь музыка только раздражает своим навязчивым ритмом, книги кажутся плоскими, картонными, а на прогулках я просто тупо хожу и считаю шаги, потому что надо же чем-то занять голову, заткнуть эту звенящую пустоту.

На алгебре я сижу, как примерная ученица, и смотрю в окно. За ним — все то же серое, тяжелое небо, мокрые, блестящие крыши, голые, скрюченные деревья. Осень. Время года, когда все живое готовится к смерти, к долгой зимней спячке. Раньше я обожала осень — за терпкий запах прелых листьев, за этот последний, прощальный фейерверк красок, за уют и тепло дома, когда за окном воет ветер. Теперь я смотрю на голые ветки и вижу в них себя. Такая же пустая, ободранная, беззащитная перед зимой, которая будет еще холоднее, чем все предыдущие.

— Варя! К доске!

Голос учительницы врезается в мое защитное марево, как острый, холодный нож. Я вздрагиваю всем телом. Класс мгновенно оборачивается, все головы поворачиваются ко мне, двадцать пять пар глаз буравят спину. Ленка под столом пихает меня локтем в бок, шипит: «Чего расселась, выходи, давай!»

Встаю. Иду к доске, чувствуя, как ноги наливаются свинцом. Беру мел, он противно скрипит, крошится в пальцах. Смотрю на пример. Там какие-то цифры, буквы, значки. Я смотрю на них и не понимаю абсолютно ничего, как будто они написаны на древнекитайском, а я даже иероглифов никогда не видела. Я ведь знаю, что учила это. Я помню, что умею решать такие примеры — алгоритм решения всплывает где-то в закоулках памяти, сухой и безжизненный, как выдержка из инструкции. Но я совершенно не могу заставить

свою руку написать эти цифры. Рука просто висит в воздухе вместе с мелом, чужая, непослушная, парализованная. Я смотрю на нее, как на приложение, и не чувствую связи.

— Ну? — в голосе учительницы нарастает нетерпение, готовое вот-вот сорваться в раздражение. — Мы все ждем, Вarya.

Медленно, как в кошмарном сне, поворачиваюсь к классу. Двадцать пять пар глаз. Кто-то усмехается, кто-то сочувствует, большинству, впрочем, просто все равно, они ждут звонка. Открываю рот, чтобы выдохнуть спасительное «я не знаю», и вдруг к горлу подкатывает что-то горячее, вязкое, удушающее. Не слезы. Нет, слез давно уже нет. Это что-то другое, более страшное. Паника. Дикая, животная паника от того, что я не могу пошевелить собственной рукой. От того, что все на меня смотрят. От того, что я стою здесь, как истукан, у доски, и не понимаю самого главного — кто я такая и зачем я здесь, в этом классе, в этой школе, в этой жизни?

— Садись, Калинина, — учительница разочарованно машет рукой, даже не глядя в журнал. — Два. Совсем готовиться к занятиям перестала.

Иду на место, ноги ватные, как у манекена. Плюхаюсь на стул. Ленка сбоку шепчет с искренним изумлением: «Ты чего это? Ты же отличница!» Я только пожимаю плечами, глядя в одну точку на парте. Кто-то нацарапал там ручкой дурацкое сердечко, пронзенное стрелой, и подпись «Лёха + Ксюша = love». Они существуют, эти Лёха и Ксюша. У них

есть имена, они любят друг друга, или думают, что любят, или просто встречаются после школы. У них есть чувства. А у меня? У меня просто оболочка.

До конца урока сижу, не поднимая головы. Учительница что-то вещает у доски, я слышу ровный гул, но слова не складываются во фразы, рассыпаются на отдельные, ничего не значащие звуки. Внутри — все та же серая, пустая комната. Только теперь мне кажется, что стены этой комнаты становятся толще, дальше, отодвигаются, и голос учительницы доносится глухо, как сквозь пуховую подушку, которой накрыли с головой.

Звонок — как удар тока, выдергивающий из оцепенения. Класс взрывается шумом, все вскакивают, хватают рюкзаки, галдят, двигаются к выходу. А я сижу. Не могу встать. Потому что если встану, надо будет идти куда-то, что-то делать, с кем-то разговаривать. А я не знаю, зачем. Совершенно не понимаю смысла этих телодвижений.

— Варь, ты идешь? — Ленка уже в проходе, рюкзак на одном плече, смотрит нетерпеливо. — У нас физра через полчаса, я в столовку, хочешь со мной?

— Иди, я позже, — вру, глядя в стену.

Она уходит, цокая каблуками новых кед. Я остаюсь одна в пустеющем, гулком классе. Хлопает дверь. Где-то вдалеке заливается смех. И вдруг, прорвавшись сквозь тучи, в окно на секунду ударяет солнечный луч. Он высвечивает в воздухе тысячи пылинок, которые до этого были невидимы. Они

кружатся в медленном, завораживающем танце, переливаются, искрятся. Живые. Настоящие.

Смотрю на этот танец пылинок в золотом луче и думаю: они хотя бы танцуют. А я? Я не могу даже пошевелиться.

— —

После школы не иду домой. Там сейчас пусто и тихо, мама будет только в семь, и эти три часа до ее прихода нужно чем-то заполнить, иначе серое марево окончательно сожрет меня. Я плетусь в парк, тот самый, где раньше любила гулять часами, слушая «Сплин» и «Звери». Скамейки сырые, мокрые после недавнего дождя, но я все равно сажусь, подстелив пакет из рюкзака. Холод пробирает до костей, садится на плечи ледяной тяжестью. Холод я чувствую остро, почти благодарно. Значит, я еще не окончательно зачоченела, не превратилась в статую.

Достаю телефон. Листаю бесконечную ленту. Там, в маленьком ярком экране, кипит чужая, настоящая жизнь: люди едят красивые, как с обложки, завтраки, фотографируются на фоне умопомрачительных закатов, ходят на концерты любимых групп, целуются на камеру, ссорятся и тут же мирятся. Все такие яркие, настоящие, объемные. Даже когда они выкладывают посты с признаниями в своей грусти — они настоящие в этой своей грусти, потому что грусть — это тоже чувство. А я? Кто я в этой бесконечной, шумной ленте жизни? Я — пустота, которая бессмысленно листает чужие картинки.

Захожу в свой профиль. Последний пост — три недели назад. Фотка рыжего кота, которого встретила по дороге из школы. Подпись: «рыжий счастье». Шесть лайков. Все. Раньше я выкладывала свои рисунки. Акварельные этюды, наброски карандашом, иногда — постановочные портреты. Рисунки собирали десятки лайков, под ними копились комментарии: «Варечка, ты талант», «очень красиво», «продолжай рисовать, это твое». А потом я вдруг перестала рисовать, потому, что напрочь исчез смысл. Ну, нарисую я что-то технично, правильно, даже красиво. И что? Кому это нужно? Зачем тратить время и силы, если в итоге — мертвая картинка, за которой ничего нет?

Убираю телефон. Смотрю на пруд. Вода серая, свинцовая, гладкая, как отполированное зеркало. В ней, как в черной воде Стикса, отражаются голые ветки прибрежных ив и рваный кусок серого, тяжелого неба. Как будто там, внизу, в этой студеной глубине, прячется другой мир, такой же безрадостный и пустой, как этот.

В кармане настойчиво вибрирует телефон. Мама.

— Варь, ты где? — голос встревоженный, усталый. — Я пришла пораньше, а тебя нет.

— В парке, — отвечаю, и голос мой звучит плоско, безжизненно.

— В каком парке, уже темнеет! Давай быстро домой, я ужин разогрею. И разговор есть серьезный.

— Какой? — без тени интереса.

— Придешь — узнаешь. Давай быстрее, доченька.

Отключается. Смотрю на погасший экран. «Доченька». Редкое слово в ее лексиконе. Обычно просто «Варя» или, когда злится, строгое «Варвара». «Доченька» — это значит, что случилось что-то из ряда вон, что-то, что она считает очень важным: либо очень хорошим, либо очень плохим, скорее всего, плохим.

Встаю со скамейки, ноги затекли и задубели от холода. Иду к выходу из парка, шурша по мокрым, слипшимся листьям. Они не шуршат, как положено осенью, а противно, жирно чавкают под ногами, как будто я ступаю по чему-то давно умершему, разлагающемуся.

— —

Дома густо и уютно пахнет едой. Мама на кухне, колдует над кастрюлями, греет суп. У нее измученный вид: волосы растрепаны, под глазами залегли глубокие тени, какие бывают только от хронической усталости. Она работает бухгалтером в какой-то конторе, целыми днями сидит, уткнувшись в циферки и отчеты, приходит домой выжатая, как лимон. И еще я на ней вишу. Знаю, что вишу. Знаю, что ей тяжело одной тащить этот воз. И от этого знания внутри иногда шевелится что-то смутное, отдаленно напоминающее чувство вины. Но чувство вины — оно ведь тоже чувство, правда? Или это просто мысли о том, что должна бы чувствовать вину, но почему-то не получается?

— Привет, — говорю, заходя на кухню. Плюхаюсь за стол,

утыкаюсь взглядом в тарелку с дымящимся супом: куриный с лапшой — раньше был любимый.

— Кушай, — мама садится напротив, подпирает щеку рукой, устало смотрит на меня. Я физически ощущаю этот взгляд кожей, но не поднимаю глаз. — В школе как?

— Нормально.

— Двойку по алгебре получила?

Вскидываю голову. Она уже знает. Электронный дневник — штука страшная, не скроешься.

— Получила.

— Варя... — мама тяжело вздыхает, трет переносицу, словно у нее болит голова. — Что происходит? Ты же всегда отличницей была. Ты сама говорила, что хочешь на дизайнера поступать, тебе же высокий балл нужен, конкурс бешеный. А сейчас? Ты вообще готовишься к чему-нибудь?

Молчу. Потому что что я могу ей сказать? Что я стою у доски и не могу пошевелить рукой? Что я всматриваюсь в зеркало по утрам и не узнаю собственного лица? Что внутри меня живет эта серая, вязкая пустота, которая с каждым днем разрастается и скоро заполнит все тело до краев, и я просто лопну, как передутый воздушный шарик, и от меня останется только жалкая мокрая тряпочка? Она ни за что не поймет. Скажет: «Хватит выдумывать, у всех бывает плохое настроение, возьми себя в руки и иди заниматься».

— Варя, я к тебе обращаюсь, — мама повышает голос. Это от бессилия, я знаю. Она не злая, она просто смертельно

устала. — Соберись. Остался всего один год. Все решается в этом году. Ты же умная девочка, ты все понимаешь.

— Я соберусь, — отвечаю на автомате, как заезженная пластинка.

— Вот и хорошо, — она снова вздыхает, уже спокойнее. Встает, идет к плите ставить чайник. — И еще, Варь... Я тут нашла кое-что для тебя.

Ставит передо мной чашку с дымящимся чаем и кладет яркую, глянцевою брошюру. На обложке — улыбающиеся, сияющие подростки, солнце, зеленая трава, большие разноцветные буквы: «Лагерь „Новая Я“: раскрой свой потенциал за 21 день!»

Я тупо смотрю на брошюру, потом на маму. Она улыбается так же, как улыбаются люди, когда свято верят, что только что решили все проблемы разом.

— Это от твоей тети Лены, она в интернете нашла. Говорят, очень хорошая программа, психологи работают, тренинги разные, ребята со всей области съезжаются. Должно помочь тебе переключиться, отвлечься, найти себя. Я уже договорилась. Ты едешь на зимние каникулы.

Смотрю на улыбающихся, идеальных подростков с глянцевою обложки. У них безупречные, отбеленные зубы, чистая, сияющая кожа, они все как один смотрят в светлое будущее с идеальной, непоколебимой уверенностью. Они уже нашли себя или им помогли. А я просто смотрю на них и чувствую... ничего. Только все ту же бесконечную, липкую

усталость.

— Мам, я не хочу.

— Варя, — мама садится напротив, берет мою холодную руку в свои теплые, живые ладони. — Ты сама не своя в последнее время. Я же вижу, я переживаю. Может, там, со специалистами, тебе правда помогут? Это же не наказание, это подарок, шанс, понимаешь? Шанс все изменить.

«Шанс». Смешное, пустое слово. Шанс на что? Стать такой же пластмассовой, улыбающейся куклой, как эти с обложки? Шанс научиться притворяться еще лучше, еще убедительнее, чтобы никто и никогда не догадался, что внутри — пустота?

Смотрю в мамины глаза. В них плещется такая знакомая смесь: тревога, любовь, усталость и отчаянная, цепляющаяся за соломинку надежда. Она правда хочет как лучше. Она свято верит, что это поможет. Она просто не знает, что со мной делать, и ухватилась за первую попавшуюся яркую картинку, как утопающий за соломинку.

И я киваю, потому что легче кивнуть, чем спорить и что-то доказывать. Потому что спорить — это хоть как-то чувствовать, а я сейчас на это не способна. Потому что мне, в сущности, уже все равно.

— Хорошо, мам.

Мама облегченно выдыхает, улыбается уже по-настоящему, счастливо, целует меня в лоб.

— Вот и умница моя. Все будет хорошо, вот увидишь. Я

в тебя верю.

Смотрю на брошюру. Под улыбающимися, сияющими лицами — мелкий, противный шрифт: «Индивидуальный подход, глубокая проработка личности, гарантия результата».

Беру брошюру в руки. Бумага гладкая, скользкая, холодная, совсем как зеркало.

И вдруг боковым зрением замечаю что-то странное. В темном, погасшем экране телевизора, стоящего в углу кухни, маячит мое собственное отражение. Неразличимый, размытый силуэт в полумраке. И мне на мгновение кажется, что это оно смотрит на меня. Не я на него, а именно оно, то, другое, — на меня. Ждет чего-то. Прислушивается к нашему разговору.

Я отворачиваюсь первой.

— —

Ночью сна — ни в одном глазу. Лежу на спине, как солдат в казарме, и тупо пялюсь в белый потолок. По нему, как по экрану, скользят тени от фар редких машин. Полосы света бесшумно пробегают от окна до двери, исчезают, чтобы через минуту появиться снова. Я считаю их. Одна, две, три, четыре... Одиннадцать машин проехало за пять минут. Я отдаю себе отчет, что это занятие — абсолютно бессмысленное, идиотское. Но это хоть что-то. Это заполняет время, не дает мозгам окончательно заплесневеть.

В голове, как заноза, застряла брошюра. «Новая Я». А что, собственно, не так со старой? Старая я... кто она? Пытаюсь

нашарить в памяти хоть какие-то картинки из прошлого года. Всплывают обрывки, как старая, порванная пленка: вот я сижу в столовой с Ленкой, и мы заливисто хохочем над чем-то дурацким; вот я рисую акварелью закат, и краски ложатся именно так, как я хочу; вот я иду по парку в наушниках и громко подпеваю «СплИну»; вот я краснею, когда Пашка проходит мимо. Это я? Или это просто чужие фотографии, которые мне когда-то показали и сказали: «Это ты, запомни»?

Закрываю глаза. В темноте легче. Там нет зеркал, нет отражений, нет лишних вопросов.

Но голос — есть. Тихий, въедливый, гадкий. Он сидит глубоко в затылке, свернувшись калачиком, и монотонно бубнит: «Ты — пустота. Ты никому не нужна такая. Ты даже сама себе не нужна. Ты просто ходячая оболочка, которая притворяется живой. С тобой что-то не так. И никогда уже не станет так, как надо».

— Заткнись, — шепчу в подушку, зарываясь лицом.

Но ему плевать на мои просьбы. Он никогда не затыкается.

Включаю телефон, шурясь от яркого света. Снова листаю ленту. Кто-то выложил невероятной красоты фото заката над морем. Кто-то написал: «Как же хорошо жить!» Кто-то поставил сторис с мурчащим котом. Жизнь кипит, бурлит, пенится по ту сторону экрана.

А здесь, по эту сторону, в моей комнате, в моей голове, в

моем безвольном теле — только тишина и медленный, бесконечный серый снегопад.

Смотрю на время: 3:14. Утром вставать в школу. Снова притворяться живой. Снова улыбаться механической улыбкой. Снова говорить нужные слова. Снова делать вид.

Закрываю глаза и изо всех сил пытаюсь представить, что проваливаюсь сквозь кровать, сквозь пол, сквозь все этажи, глубоко под землю, туда, где темно, тихо и где никто и никогда не потребует, чтобы ты была собой. Потому что там даже этого слова не знают — «быть собой».

Но я не проваливаюсь. Я просто продолжаю лежать и смотреть, как по потолку ползут тени, пока за окном не начинает медленно, неохотно сереть.

А когда утро все-таки наступает, я встаю, плетусь в ванную и встаю перед зеркалом.

Девушка там — все та же. Чужая, пустая, с глазами, в которых нет ни единой мысли.

Я выдавливаю из себя улыбку. Ей.

— Сегодня пятница, — сообщаю я этому призраку. — Еще один день.

Она беззвучно кивает.

И мы расходимся по своим углам, чтобы встретиться снова, когда стемнеет.

Глава 2. Матрица достижений

Я сижу на подоконнике в школьном коридоре уже, наверное, целую вечность. Ноги безвольно свесила вниз, головой прижалась к ледяному стеклу — оно принимает мой жар, не задавая лишних вопросов. За окном моросит нудный, бесконечный дождь, капли неторопливо сползают по стеклу, обгоняют друг друга, сливаются в тонкие, извилистые ручейки. Я выбираю одну, самую медленную, и слежу за ней. Она ползет мучительно долго, то и дело замирает, словно раздумывая, а потом вдруг рывком догоняет остальных, вливается в общий поток. Как будто у нее есть цель, маленькая и глупая, но цель: доползти донизу, упасть в общую лужу, стать частью чего-то большего, чем она сама.

У меня такой цели нет.

В кармане настойчиво, противно вибрирует телефон. Достая, смотрю на экран. Мама. Четыре пропущенных за последний час. И веер сообщений, которые становятся все тревожнее: «Ты где?», «Почему не берешь трубку?», «Варя, немедленно ответь, я уже волнуюсь!», «Если тебя нет в школе, я звоню классной руководительнице».

Пальцы сами набирают ответ, короткий и лживый: «В школе на уроке. Потом перезвоню». Отправляю и прячу телефон обратно в карман. Вру. Урока сейчас нет, большая перемена. Просто я нашла убежище в дальнем конце коридора

третьего этажа, куда почти никто не заглядывает. Здесь окно выходит на неприглядный школьный задний двор, на мусорные баки и старые, облезлые тополя, и никто не видит, как я сижу на подоконнике, застывшая, как изваяние.

За спиной — шаги. Ритмичные, уверенные, приближаются. Я не оборачиваюсь. Шаги затихают рядом, потом слышен легкий скрип — кто-то взбирается на соседний подоконник.

— Ты чего тут прячешься?

Ленка. Конечно, Ленка. У нее профессиональный нюх на мои убежища, как у опытной ищейки.

— Не прячусь, — бормочу, не отрывая лба от благословенного стекла. — Воздухом дышу.

— Дышишь, значит, — повторяет она с явным сомнением в голосе. — Ну-ну. Слушай, ты по алгебре хоть что-нибудь поняла? Я вообще ни бум-бум, эта новая тема — какой-то запредельный ужас. Может, позанимаемся вместе на выходных?

Молчу. Смотрю на капли. Одна из них, самая отчаянная, наконец, достигает подоконника и расплывается мокрым пятном.

— Варь? Ты меня слышишь?

— Слышу.

— И-и-и?

С трудом отрываю голову от стекла, поворачиваюсь к ней. Ленка сидит на подоконнике, поджав под себя ноги, во всей своей розововолосой, кричащей яркости. Смотрит на меня с

привычным уже, приевшимся беспокойством.

— Лен, я не знаю, — говорю честно, и слова падают в тишину тяжелыми, вязкими комьями. — Я сама уже ничего не понимаю. Я на уроке смотрю на доску и вижу просто буквы, отдельные значки. Они никак не хотят складываться в слова и формулы.

— Это потому, что ты не высыпаешься, — Ленка довольно кивает, словно только что совершила гениальное открытие. — Ты же опять ночью в телефоне зависала? Слушай, есть же лайфхак! Мелатонин пить надо, мне брат из Испании привез крутой, хочешь поделюсь? Сон будет — как у младенца.

— Не надо, — снова прижимаюсь лбом к стеклу.

— Варь, — Ленка замолкает на секунду, а когда снова говорит, голос у нее становится тише, проникновеннее. — Ты какая-то... не такая. Я же вижу. Может, расскажешь? Что стряслось-то?

Что стряслось. Если бы я только знала. Если бы случилось что-то конкретное, осязаемое — болезнь, смерть, катастрофа, потеря, — было бы в тысячу раз проще. Тогда была бы причина, было бы за что зацепиться, было бы что объяснять. А так — просто пустота. Просто этот липкий, серый, бесконечный снег внутри. Просто однажды утром проснулась и поняла, что больше не чувствую себя собой и вообще никем.

— Ничего не случилось, — говорю, глядя в одну точку. — Все в полном порядке.

— Да ну, блин! — Ленка легонько пихает меня в плечо. — Ты же мне подруга! Мы с тобой с пятого класса неразлейвода. Я же вижу, что не в порядке. Ты даже рисовать перестала. А ты же всегда рисовала, сколько я тебя помню. Помнишь, ты мне на день рождения портрет нарисовала? Карандашом, в профиль? Я его до сих пор храню, в рамку вставила.

Помню. Я рисовала Ленку очень старательно, высунув от усердия язык, помногу раз стирала и перерисовывала линии, добиваясь сходства. Просидела тогда часа два, наверное. А она, когда получила подарок, расплакалась от радости и умиления. Я тогда чувствовала такое тепло, такую гордость, такую радость от того, что могу сделать человеку приятно. Я умела делать людям приятно.

— Это было давно, — говорю глухо.

— Ну и что? Ты же не могла разучиться рисовать за один год? Нарисуй что-нибудь. Мне, например. Или просто для себя. Говорят, это здорово снимает стресс, такое арт-терапией называется.

Смотрю на Ленку. Она правда хочет помочь, искренне, как умеет. Она просто не понимает, что дело совсем не в рисовании. Что я могу взять карандаш, могу провести линию, могу даже изобразить что-то технически грамотное. Но внутри при этом не будет ровно ничего — ни того щемящего чувства, ради которого стоило это затевать, ни радости от процесса. Рисунок выйдет мертвым, анатомическим пособием. Как и все остальное, что я сейчас делаю.

— Лен, иди уже, — прошу устало. — Сейчас звонок будет. Я потом приду.

Она смотрит с сомнением, медлит, потом все-таки слезает с подоконника, одергивает модные джинсы.

— Ты это... если что, я рядом. Лады?

— Лады.

Она уходит, цокая каблуками по пустому коридору. Я остаюсь одна. Снова смотрю на капли, снова считаю их. Сто двадцать три. Сто двадцать четыре. Сто двадцать пять... Телефон снова вздрагивает в кармане. Мама. Я сбрасываю вызов, даже не глядя на экран.

— —

После уроков я не плетусь домой, а ныряю в спасительное чрево торгового центра. Домой сейчас нельзя. Там мама, которая будет допрашивать с пристрастием, почему я не брала трубку, и что у меня в школе, и готовлюсь ли я к проклятому ЕГЭ, и думала ли я вообще о том, на какой факультет буду поступать. А я не думаю. Я вообще ни о чем не думаю последнее время. Мысли приходят и уходят сами по себе, бесцельно проплывая через сознание, как редкие облака по безнадежно серому небу, не задерживаясь, не оставляя следа.

Торговый центр — идеальное убежище. Здесь всегда шумно, многолюдно, пахнет пережженным маслом из фуд-корта и приторными ароматами новой одежды из бутиков. Здесь можно легко раствориться в толпе, стать невидимой, еще одной серой мышкой в общем потоке. Никто не пялится

на тебя, не цепляется с расспросами, не интересуется твоими делами. Ты просто одно из многих лиц, просто элемент декора.

Брожу между бесконечными рядами с одеждой, машинально перебираю вещи. Джинсы разной степени потертости, футболки с дурацкими принтами, мягкие, уютные свитера. Трогаю их — одни на ощупь шершавые, другие — нежно-гладкие, третьи — колючие, синтетические. Текстуры. Я чувствую их кончиками пальцев, и это хоть что-то, хоть какая-то замена эмоциям. Продавщицы, одетые в униформу, то и дело подсказывают ко мне с дежурными улыбками: «Девушка, вам помочь? Что-то подсказать? Хотите примерить?» Я молча мотаю головой, и они, теряя ко мне интерес, тут же отлипают, переключаясь на других, более перспективных жертв.

Забредаю в магазин канцтоваров. Здесь пахнет так знакомо и щемяще — свежей бумагой, новыми фломастерами, резиновым клеем и почему-то ванилью. Раньше я могла торчать здесь часами, благоговейно перебирая кисточки разных размеров, рассматривая альбомы для акварели, вдыхая запах масляной пастели, мечтая о том дне, когда куплю вот этот, идеальный блокнот в крафтовой обложке и буду заполнять его своими рисунками каждый день, не пропуская ни одного. Сейчас я просто стою посреди этого царства, как чужая, и тупо смотрю на полки, заставленные баночками и тюбиками. Акварель, гуашь, акрил — яркие, манящие этикет-

ки, обещающие волшебство. Беру в руки коробку акварельных красок, открываю. Двенадцать идеально ровных квадратов, пахнущих медом и далеким, безвозвратно ушедшим детством. Закрываю коробку, ставлю на место, как чужую, ненужную вещь. Иду дальше.

В отделе с блокнотами и скетчбуками замечаю девушку. Моя ровесница, наверное. Она сидит прямо на грязном полу в проходе, поджав ноги, и никто не делает ей замечания — в этом мире потребления всем, по большому счету, плевать друг на друга. Перед ней раскрыт большой скетчбук, и она быстро, уверенно рисует. Я замираю за ее спиной, заглядываю через плечо. Портрет. Девушка с длинными волосами, в больших наушниках, задумчиво смотрит куда-то в сторону. Рисунок живет, дышит — линии такие мягкие, живые, тени положены точно, с пониманием объема. Я смотрю на руки незнакомки: они двигаются легко, без тени сомнения, без этих моих судорожных, неуверенных штрихов. Она знает, что делает. Она чувствует каждый миллиметр этой бумаги.

Я стою как замороженная и смотрю, как прямо на моих глазах рождается чудо. Штрих за штрихом, линия за линией. Волосы, глаза, изгиб губ. Девушка полностью поглощена процессом, она меня не замечает. А я вдруг чувствую... что-то. Впервые за такое долгое, бесконечное острое, жгучее, как лимонная кислота на языке, время. Зависть. Дикая, неконтролируемая зависть к тому, как у нее это получается. К то-

му, что она может. Что она чувствует. А я?

Резко отворачиваюсь и почти бегом вылетаю из магазина, пока эта зависть не разъела меня изнутри окончательно.

Плетусь к фонтану в центре зала, плюхаюсь на холодную скамейку. Фонтан не работает, это просто огромная сухая чаша, на дне которой тускло поблескивает россыпь мелких монеток. Люди бросают их и загадывают желания. Глупые, наивные, смешные. «Хочу любви», «Хочу много денег», «Хочу сдать экзамен», «Хочу, чтобы мама выздоровела». А я не знаю, чего бы я загадала, даже если бы у меня была эта завалящая монетка.

Достаю телефон, утыкаюсь в спасительный экран. Снова бесконечная лента, бесконечная чужая жизнь. Кто-то радостно сообщает, что поступил в университет, кто-то выкладывает фотографию с любимым на фоне заката, кто-то жалуется, что разругался в пух и прах с мамой. Жалуется — значит, чувствует. Значит, ему не плевать, значит, он живой.

Вдруг натыкаюсь на пост в каком-то психологическом паблике. Картинка: девушка стоит перед зеркалом, а в отражении — пустота, только размытый силуэт. Подпись крупными буквами: «Деперсонализация — это состояние, при котором человек чувствует себя отделенным от собственного тела, мыслей и чувств. Это не лень и не каприз, а серьезное расстройство восприятия, требующее внимания специалиста».

Читаю этот текст раз, другой, третий. Слова отдаются в голове глухим, тяжелым эхом. «Отделенным от собственно-

го тела и мыслей». Это же про меня. Это же слово в слово то, что я чувствую каждую секунду своего существования. Значит, это не я сама это придумала, не я сошла с ума? У этого есть имя. У этого есть название.

Пальцы сами лезут в поисковик, забивают страшное, длинное слово. Деперсонализация, дереализация, симптомы, причины, лечение. Читаю жадно, глотая страницу за страницей, и внутри спокойно, очень спокойно, начинает что-то шевелиться: какая-то холодная, расчетливая мысль: я не одна. Такое бывает с другими людьми. Это не потому, что я плохая, сломанная, бракованная. Это просто... состояние. Болезнь? Расстройство?

На одном форуме натыкаюсь на пост девушки, почти моего возраста. «Мне кажется, что я смотрю кино про саму себя. Я двигаюсь, говорю, что-то делаю, но это не я. Настоящая я где-то далеко и никак не может достучаться до этой оболочки». У меня перехватывает дыхание. Это же мои мысли! Почти слово в слово, интонация в интонацию.

Читаю дальше, жадно, лихорадочно. Кто-то пишет, что это прошло само собой, со временем. Кто-то — что помогла длительная терапия и антидепрессанты. Кто-то — что живет с этим уже много лет и просто привык, приспособился. Мнения разные, рецепты счастья противоречат друг другу. Но главное, самое важное, что я выношу из этого бессистемного чтения: я не одна.

Сижу, уткнувшись в телефон, поглощая строчку за строч-

кой, пока батарея не начинает жалобно пищать, предупреждая, что осталось всего 15 процентов. Тогда я с усилием поднимаю голову. Вокруг все та же безликая толпа, тот же монотонный шум, тот же искусственный, мертвенный свет. Но внутри меня, кажется, стало чуточку светлее, совсем чуть-чуть, на самую малость, потому что у моей бездонной, всепоглощающей пустоты вдруг оказалось имя.

— —

Домой я еду в переполненном автобусе, прижимаясь разгоряченным лбом к холодному, запотевшему стеклу (я вообще много прижимаюсь к чему-то холодному в последнее время, ищу эту спасительную, бессловесную прохладу). За окном мелькают серые, безликие многоэтажки, редкие машины, спешащие по своим делам люди. А я все думаю о том, что только что прочитала. Деперсонализация. Длинное, труднопроизносимое, какое-то чужеродное слово. Оно звучит почти как медицинский приговор, но в то же время оно странным образом облегчает мне жизнь. Как будто мой личный, никому не видимый ад получил официальное название, был описан в толстых учебниках по психиатрии, перестал быть только моей выдумкой.

Может, мама права? Может, мне и правда нужен специалист, психолог или даже психиатр? Но как я ей это скажу? «Мам, я тут в интернете начиталась, у меня, оказывается, деперсонализация, веди меня к врачу»? Она ведь не поверит. Она скажет, что я сама себе навывдумывала болезней, пото-

му что только и делаю, что сижу в этом дурацком интернете. Она всегда так говорит, стоит мне начать кашлять и прочитывать про пневмонию.

Вздыхаю. Стекло под моим дыханием мгновенно запотевает, образуя мутное пятно. Рисую пальцем на этом пятне кривой, печальный смайлик. Получается жалкое, уродливое зрелище. Тут же стираю его, размазываю по стеклу.

Дома меня встречает мама. Она стоит в коридоре, скрепив руки на груди, лицо напряженное, как струна.

— Где ты была? — голос звенит. — Я звонила, звонила! Уже с ума сходила!

— В торговом центре, — бросаю коротко, стаскивая промокшие кроссовки.

— В торговом центре?! После школы? А уроки? Ты же вчера двойку получила, тебе заниматься надо, а ты по торговым центрам шляешься!

— Мам, я устала. Отстань.

— Не отстану! — она загораживает мне проход в комнату. — Я с тобой разговариваю! Ты вообще меня слышишь? Что с тобой происходит? Ты как будто не здесь, не со мной.

Смотрю на нее. Она права. Я не здесь. Я вообще непонятно где. Где-то там, в этой проклятой серой комнате, и наблюдаю за нашей ссорой через толстое, мутное стекло, как за сценой в плохом театре.

— Я здесь, — говорю безжизненно. — Просто устала.

— Ты всегда устаешь! — в ее голосе вдруг проскальзы-

вают слезы. Это самое страшное. Когда мама плачет. Потому что тогда сквозь серую броню пробивается что-то острое, похожее на чувство вины. — Я работаю как проклятая, я стараюсь для тебя, я тебе лагерь этот нашла, чтобы помочь, а ты... ты даже спасибо не сказала!

— Спасибо, — слова вылетают сами, механически, бездушно.

— Не смей издеваться! — она почти кричит, и голос ее срывается. — Я уже не знаю, что с тобой делать! Врачу тебя показать? К психологу отвести? Ты как робот какой-то ходишь! Живая же девчонка была, а сейчас...

Она замолкает, резко отворачивается, трет глаза ладонью. Плечи ее вздрагивают. Она плачет из-за меня.

Я должна что-то сделать: подойти, обнять, сказать что-то теплое и важное. Раньше я умела. Раньше я подходила, обнимала ее, и она успокаивалась, прижималась ко мне, и все становилось хорошо. А сейчас я просто стою столбом посреди коридора и смотрю на ее вздрагивающую спину. Руки висят плетьюми, безжизненные, чужие. Внутри по-прежнему пуста. Я прекрасно знаю, что должна сейчас чувствовать — жалость, вину, острое желание утешить. Но я это только знаю, чисто теоретически. Сердце молчит, не отзывается.

— Мам, прости, — выдавливаю из себя слова, которые падают в воздух плоскими, мертвыми листьями. — Я правда устала. Я пойду, уроки сделаю.

Медленно прохожу мимо нее в свою комнату. Закрываю

дверь, приваливаюсь к ней спиной. Стою, слушаю, как мама на кухне всхлипывает, пытаюсь справиться с собой. И ничего не чувствую. Только глухую, ноющую головную боль от долгого чтения с экрана.

— —

Ночью я снова не сплю. Лежу пластом, уставившись в потолок, по которому пляшут все те же тени. В голове крутятся обрывки фраз с форума, прочитанные статьи, чужие истории. И главная мысль, назойливая, как комар: если у этого состояния есть имя, значит, его можно лечить? Значит, теоретически можно вернуться? Вернуться в собственное тело, в свои настоящие чувства, в ту жизнь, которая была до?

Дрожащими пальцами набираю на телефоне адрес того самого форума, захожу в раздел, где люди делятся историями. Пишу пост. Коротко, сухо, почти как в медицинской карте: «Привет. Мне 16. Уже несколько месяцев чувствую себя не в своем теле. Как будто смотрю фильм про себя со стороны. Это вообще лечится? Что делать?»

Нажимаю «Отправить» и откладываю телефон в сторону, словно он может ужалить. Сердце почему-то колотится где-то в горле. Странно. Я ведь почти ничего не чувствую, а тело все равно живет своей жизнью — пульсирует, дрожит, покрывается холодным потом.

Через пять минут — первый ответ. Незнакомый ник, короткое сообщение: «Привет. У меня так было в 15. Прошло само через полгода. Держись, все будет хорошо!» Потом вто-

рой: «Не занимайся самолечением, сходи к психиатру, это лечится таблетками, я пью уже год, помогает». Потом третий, более развернутый: «Это от стресса обычно бывает. У тебя сильный стресс в школе или дома? Попробуй йогу, медитацию, дыхательные упражнения».

Я читаю ответы, и внутри, в самой глубине серой комнаты, медленно, очень медленно, начинает теплеть. Люди откликаются, пишут мне, незнакомой, советуют, поддерживают. Я не одна.

Под одним из ответов замечаю никнейм «ex_psycho». Человек написал длинный, подробный пост о том, как сам несколько лет страдал от деперсонализации, а потом смог вылечиться с помощью грамотной терапии. Я захожу на его страницу, читаю другие посты. Он производит впечатление знающего человека, пишет спокойно, грамотно, без истерики и без излишнего оптимизма. В конце почти каждого поста — ссылка на какой-то сайт. Я перехожу по ссылке.

Там сайт частного психологического центра. Все очень красиво, современно, стильно. Фотографии уютных кабинетов с кожаными креслами, приветливые лица специалистов, расписанные по часам. И внизу страницы, ярким баннером, реклама: «Лагерь „Новая Я“ для подростков. Поможем найти себя всего за 21 день! Индивидуальные программы, опытные психологи, работа с самооценкой и эмоциональным интеллектом. Зимние смены. Успеите забронировать место!»

Я тупо смотрю на экран. Та же самая брошюра, которую

мама показывала мне вечером. Только в цифровом, более совершенном формате. Те же сияющие, счастливые лица, те же громкие, многообещающие лозунги.

И вдруг меня пронзает мысль — острая, как игла, мгновенная. А что, если это правда работает? Что, если там, в этом лагере, мне действительно помогут настоящие специалисты, которые знают, как вытащить меня из этой серой комнаты, как вернуть меня мне самой?

Лихорадочно читаю программу лагеря. Тренинги, групповые занятия, арт-терапия, ежедневная работа с персональным психологом. Это же именно то, что мне нужно, судя по форумам? Это же мой шанс?

В голове снова всплывают обрывки чужих советов: «сходи к психиатру», «это лечится», «помогла терапия». А лагерь — это почти то же самое, только в красивой, привлекательной упаковке. И мама уже все решила, уже забронировала место. Сопротивляться бесполезно, да и незачем.

Закрываю сайт. Лежу, глядя в потолок. Мысли мечутся, сталкиваются, разбегаются, как тараканы при свете. А вдруг это сработает? А вдруг нет? А вдруг там станет еще хуже? А вдруг я приеду и пойму, что со мной все в полном порядке, что я себе все придумала?

Телефон снова пищит — еще одно сообщение на форуме. Читаю, и слова эти врезаются в память, отпечатываются, как клеймо: «Не сдавайся, слышишь? Это состояние — не навсегда. Главное — искать помощь и не замыкаться в себе.

Ты обязательно справишься!»

Смотрю на эти простые, избитые слова. И почему-то от них начинает предательски щипать в носу. Я не плачу. Я вообще забыла, как это делается, но щиплет, как будто там, глубоко-глубоко, за многометровой стеной серого бетона, кто-то живой, настоящий слышит эти слова и пытается пробиться сквозь кладку.

— —

Под утро я все-таки проваливаюсь в тревожный, рваный сон.

Мне снится конвейер. Бесконечная, уходящая в темноту лента, на которой плотными рядами лежат люди. Они все неподвижны, с закрытыми глазами, и конвейер равнодушно везет их в черную пустоту. Я тоже лежу на этой ленте, в одном ряду с другими. Рядом со мной — Ленка, мама, та самая незнакомая девушка из магазина канцтоваров. Мы все едем, едем, едем, медленно приближаясь к краю. Сверху, из темноты, спускаются огромные механические руки, хватают тех, кто оказывается ближе всех к пропасти, и уносят в никуда. Я смотрю и жду, когда же очередь дойдет до меня.

И вот механическая рука нависает надо мной. Она чудовищных размеров, вся из металла, с гидравлическими приводами и мощными клешнями. Я хочу закричать, позвать маму, но из горла не вырывается ни звука. Рука медленно, неумолимо сжимает меня, приподнимает над лентой. И вдруг я слышу голос — спокойный, уверенный, усиленный

динамиками: «Не бойся, Варя. Мы тебя починим. Сделаем новую. Лучше прежней».

Просыпаюсь от собственного беззвучного крика. Сердце колотится где-то в горле, готовое выпрыгнуть. В комнате уже серый, унылый утренний свет. За окном все так же монотонно барабанит дождь. Смотрю на часы: 7:15. Пора вставать, собираться в школу.

Лежу еще минуту, пытаюсь отдышаться, прийти в себя. Сон медленно тает, уходит в темные закоулки памяти, но липкое, неприятное ощущение конвейера остается. Как будто я и правда все еще еду куда-то, и не в силах остановиться, спрыгнуть.

Заставляю себя встать, плетусь в ванную. Смотрю в зеркало. Девушка там — бледная, с темными, провалившимися глазами, с серым, нездоровым цветом лица. Я смотрю на нее, она — на меня.

— Сегодня же суббота, — сообщаю я ей. — Выходной.

Она беззвучно кивает.

Умываюсь ледяной водой, надеясь прогнать остатки ночного кошмара. Смотрю на свои руки, лежащие на краю раковины. Они чуть заметно дрожат. Тело помнит то, что мозг уже пытается забыть.

Выхожу из ванной — мама уже на кухне, варит кофе. Глаза у нее красные, припухшие. Понятно, ночью плакала. Опять из-за меня.

— Доброе утро, — говорю осторожно.

— Доброе, — отвечает тихо, даже не оборачиваясь.

Сажусь за стол. Смотрю на дымящуюся чашку с кофе, которую она молча ставит передо мной. Пар поднимается тонкой спиралькой, закручивается, исчезает в воздухе.

— Мам, — начинаю, глядя в чашку. — Прости за вчерашнее. Я правда очень устаю в школе. И вообще...

Она, наконец, поворачивается, смотрит выжидающе, с надеждой.

— Я подумала насчет лагеря. Наверное, я все-таки поеду.

Мамино лицо меняется мгновенно. Тревога сменяется робкой надеждой, надежда — огромным, почти детским облегчением.

— Правда? — переспрашивает она, не веря.

— Правда.

Она подлетает ко мне, обнимает, прижимает к себе. Я сижу, как деревянная статуя. Не могу, не умею обнять в ответ. Но хотя бы не отталкиваю, позволяю себя обнимать. Это самое малое, что я сейчас могу для нее сделать.

— Вот и хорошо, — шепчет она мне в волосы, гладит по голове. — Вот и умница. Все обязательно наладится, вот увидишь.

Смотрю на пар, поднимающийся над чашкой. Он поднимается все выше, истает, исчезает бесследно. Как я. Как моя жизнь. Как все, что я когда-то чувствовала.

— Наладится, — покорно повторяю я за ней.

Снаружи это слово звучит как надежда. Внутри — только

пустое, бесконечное эхо.

Глава 3. Добро пожаловать в реальность

Мы трясемся в этом автобусе уже три часа, и мне кажется, что за окном прокручивают одну и ту же заезженную пластинку: серые, облезлые деревеньки с покосившимися заборами, голые, зябкие поля, перелески с почерневшими от бесконечной сырости стволами. Я прижимаюсь лбом к ледяному стеклу — куда ж без этого ритуала — и тупо считаю телеграфные столбы, мелькающие за окном с монотонностью метронома. Сто двадцать семь. Сто двадцать восемь. Сто двадцать девять. Голова гудит от дорожной тряски и от того, что перед отъездом я снова не сомкнула глаз.

Мама сидит рядом, нервно теребит пряжку ремня безопасности, переводит взгляд с окна на меня, с меня на окно. Она вся — сплошное напряжение, которое я ощущаю краем сознания, как чувствуют боковым зрением резкое движение. Но внутри у меня по-прежнему — та же знакомая, вымороженная тишина. Я еду в лагерь, который должен меня починить, пересобрать, выдать новую, улучшенную версию. Я должна бы радоваться, или бояться, или хотя бы любопытствовать, заглядывая в будущее, но я просто сижу и смотрю на столбы. Сто тридцать. Сто тридцать один.

— Варюш, — мама осторожно трогает мою руку, словно

боится обжечься. — Только если что-то пойдет не так, если вдруг не понравится — сразу звони. Я приеду, заберу. Сию же минуту. Договорились?

— Договорились.

— Там, говорят, питание хорошее, я отзывы читала. Если с едой что-то не так — тоже говори. У тебя же желудок слабый, с детства.

— Угу.

— И с ребятами постарайся подружиться, ладно? Не закрывайся, как улитка. Это же отличная возможность для новых знакомств.

— Угу.

Мама тяжело вздыхает, отворачивается к окну. Я знаю, что она старается, что она надеется, вцепившись в эту надежду, как в спасательный круг. И от этого знания внутри шевелится что-то далекое, приглушенное, похожее на вину, — как радио, которое играет в соседней комнате за закрытой дверью, почти не слышно, но где-то там, на периферии, оно есть.

Автобус неожиданно сворачивает с трассы на узкую, разбитую дорогу, обсаженную старыми, мрачными елями. Ели темные, мокрые, их лапы тянутся к нам, почти царапают стекла, как костлявые руки. Дорога петляет, автобус закладывает виражи, нас бросает из стороны в сторону. Меня начинает слегка подташнивать, но я терплю, стиснув зубы. Просто закрываю глаза и изо всех сил представляю, что я

— один из этих столбов. Стою себе в чистом поле, корни в землю, макушка в небо, никуда не еду, ничего не чувствую. Хорошо быть столбом. Спокойно.

— Приехали, — голос мамы выдергивает меня из столбового транса.

Открываю глаза.

Автобус со скрежетом тормозит перед массивными, коваными воротами, какие обычно ставят в дорогах коттеджных поселках. Ворота наглухо закрыты, рядом с ними — будка с охранником в темной униформе. За воротами открывается длинная, прямая, как стрела, аллея, ведущая к группе мрачноватых зданий. И здания эти совсем не похожи на веселые деревянные домики с резными наличниками, которые я почему-то ожидала увидеть. Это серые, бетонные коробки с узкими, щелевидными окнами, этажей по пять-шесть, обнесенные высоким забором. Место похоже на заброшенный завод из советского прошлого или на засекреченный научный институт из старых черно-белых фильмов про шпионов.

— Это здесь? — мой голос звучит глухо, как из бочки.

— Здесь, — мама сверяется с навигатором в телефоне, тычет пальцем в экран. — «Новая Я», реабилитационный центр для подростков. Адрес этот.

«Реабилитационный центр». Это словосочетание режет слух своей холодной, казенной официальностью. Звучит как-то... по-медицински, что ли. Мама говорила «лагерь». В яркой брошюре было написано «лагерь». С улыбками, ко-

стром и песнями под гитару. А это... это место выглядит так, будто здесь лечат не душу, а что-то другое, более материальное. Или не лечат, а... чинят.

Из автобуса, гомоня, вываливаются другие пассажиры. Я только сейчас замечаю, что мы ехали не одни. Несколько взрослых, ведущих за руки унылых подростков, пара парней без родителей, девушка с огромным, ярко-розовым чемоданом, который явно великоват для нее самой. Мы все выгружаемся на обочину перед запертыми воротами, и меня вдруг пронзает острое, почти физическое ощущение: мы похожи на скот, который привезли на бойню. Стоим, жмемся друг к другу, не зная, что нас ждет за этими стенами.

Ворота с лязгом открываются, и к нам выходит женщина в белоснежном халате, накинутом поверх теплой пуховой куртки. Халат распахнут, под ним обычная, человеческая одежда, но этот стерильно-белый цвет все равно режет глаза, бьет по нервам. Она улыбается — широко, профессионально, как стюардесса перед взлетом, когда объясняет правила безопасности.

— Добро пожаловать в «Новую Я»! — голос у нее зычный, поставленный, слышно всем. — Меня зовут Елена Сергеевна, я куратор вашего заезда. Прошу родителей пройти за мной для оформления документов, ребята пока могут подождать в холле. Не волнуйтесь, все будет хорошо, вы в надежных руках.

Она говорит все правильные, успокаивающие слова, но

почему-то от ее голоса у меня по спине пробегает холодок. Может, просто на улице холодно. Декабрь все-таки.

Мама судорожно сжимает мою ладонь.

— Ну, доченька, я пойду оформлюсь. Ты держись тут. Я скоро вернусь, попрощаться.

— Ага.

Она уходит за женщиной в белом халате, то и дело оглядываясь на меня, словно боится, что я испарюсь. Я стою с рюкзаком у ног и рассматриваю серые, мрачные корпуса. Они кажутся огромными, давящими, окна — маленькими, как бойницы в крепостной стене. Кое-где окна и вовсе заколочены листами фанеры, что придает месту еще более зловещий вид. Над главным входом — старая, выцветшая вывеска: «НИИ кибернетики и психологии». Краска на ней облупилась, буквы местами осыпались. А ниже, свеженькая, новодельная табличка: «Центр „Новая Я“».

— Жуть, да? — слышу сбоку насмешливый голос.

Поворачиваю голову. Рядом стоит парень, чуть старше меня, наверное. Высокий, тощий до прозрачности, в драной, выдавшей вида зимней джинсовке, надетой поверх бесформенного худи. Длинные, сальные волосы падают на глаза, он то и дело откидывает их назад резким, порывистым движением головы. Взгляд насмешливый, но не злой, скорее устало-циничный.

— Что? — переспрашиваю, не сразу въезжая.

— Говорю, жуть полная, — он кивает на корпуса. — Ла-

герь, блин, называется. А похоже на психушку или на концлагерь. Что больше нравится?

Я молчу, слова, как всегда, застревают где-то в горле, не в силах пробиться наружу.

— Я Игнат, — парень протягивает руку. Я смотрю на его ладонь — грязные ногти, на пальце черное, потертое серебряное кольцо с черепом. — А ты Варя, если я правильно слышал, когда твоя мама тебя «доченькой» называла.

Я осторожножимаю его руку. Ладонь у него теплая, сухая, живая. Моя — холодная, влажная, как у дохлой лягушки.

— Приятно познакомиться, Варя, — он усмехается. — Будем вместе проходить перековку. Ты за что сюда?

— В смысле?

— Ну, провинилась в чем? Наркотики? Алкоголь? Прогулы? Или просто родители достали до печенок, и они решили тебя перевоспитать по полной программе?

— Я... не знаю, — говорю честно. Это звучит жалко, но врать нет ни сил, ни желания. — Мама сказала, что это поможет мне найти себя.

Игнат фыркает, как кот, которому наступили на хвост.

— Найти себя. Классика. Мои тоже орут: «Найди себя, определись с будущим, поступи в нормальный вуз». А я хочу в музыкальное училище, на гитаре учиться, в рок-группе играть. Так они меня сюда сослали, чтобы я, значит, «осознал ценность нормального образования». — Он рисует пальца-

ми кавычки в воздухе. — Думают, тут меня быстро перевоспитают, мозги на место вправят.

— А... перевоспитают?

— А хрен его знает, — Игнат философски пожимает плечами. — Мне, если честно, пофиг. Двадцать один день как-нибудь отсижу, потом дома поспокойнее будет. А там видно будет.

Он поднимает голову, щурится на вывеску над входом, где свежей краской выведено «Центр „Новая Я“», и криво усмехается.

— Слушай, а почему «Новая «Я»? — спрашивает он, кивая на табличку. — Типа только для девчонок? А мы, пацаны, получается, просто так, нагрузка? Я тоже хочу быть «Новым Игнатом». Или «Новым Я» в мужском роде. Как это? «Новый Я»?

Он скривился, пробуя на вкус.

— Не звучит. Фу. Дискриминация.

— Может, они имели в виду «новая я» как новую личность, — тихо предполагаю я. — Без разницы, мальчик ты или девочка.

— Ага, — Игнат засовывает руки в карманы драной джинсовки и хмыкает.

Говорит он легко, с какой-то даже бравадой. Как будто ему и правда на все наплевать. Я смотрю на него и пытаюсь понять, чувствую ли я что-то по этому поводу. Зависть к его напускной легкости? Раздражение от его дешевого цинизма?

Нет, ничего. Просто наблюдаю, как за персонажем в затянувшемся, скучном фильме.

— А ты странная, — Игнат разглядывает меня с неподдельным интересом. — Молчишь много. Задумчивая такая. Как будто не здесь.

— Я не странная, — возражаю вяло. — Я просто...

Запинаюсь. Потому что не знаю, что я.

— Ладно, не парься, — он хлопает меня по плечу, отчего я чуть не падаю. — Тут все странные. Иначе бы сюда не приехали, в психушку эту добровольно-принудительную.

Из главного корпуса выходят родители. Мама приближается ко мне, глаза на мокром месте.

— Варюша, — она обнимает меня, и я снова чувствую себя деревянной, негнушейся куклой. — Я все оформила. Тут все так серьезно... Медицинская карта, куча согласий, инструктаж на полчаса. И телефон, Варь, телефон придется сдать.

— Что? — я отстраняюсь, вглядываясь в ее лицо.

— Телефон, говорят, надо сдать на хранение. Чтобы не отвлекал от процесса, чтобы полностью погрузиться в программу. Но ты не переживай, у них есть связь с родителями, раз в три дня можно будет звонить по специальному телефону-автомату. Или в экстренных случаях, конечно.

Я смотрю на маму, и внутри начинает разрастаться холодная, липкая тревога. Телефон — это единственное, что еще связывает меня с... с чем? С миром? С собой? В телефоне я

читала про деперсонализацию, в телефоне искала ответы на свои вопросы, в телефоне был тот спасительный форум, где люди меня понимали. Без телефона я останусь совсем одна в этой серой, бетонной коробке.

— Мам, я не хочу сдавать телефон. Пожалуйста.

— Варя, это правила. Я подписала согласие. Ты же хочешь, чтобы тебе помогли? Значит, надо доверять специалистам.

Она протягивает руку. Я смотрю на ее ладонь, исчерченную тонкими линиями жизни, ума, сердца, на тонкие морщинки вокруг пальцев, на обручальное кольцо, которое она так и не сняла, даже когда отец ушел от нас. Она ждет. Медленно, как в страшном сне, достаю телефон из кармана куртки. Он еще теплый, живой, заряженный моими секретами. Кладу его в мамину раскрытую ладонь.

— Я буду очень скучать, — голос мамы дрожит. — Но это ради твоего же блага, доченька.

Мое благо. Странное, чужое слово. Как будто есть кто-то посторонний, кто знает, что для меня благо, гораздо лучше меня самой.

Мама еще раз обнимает меня, крепко, до хруста в костях, целует в щеку мокрыми губами, шепчет: «Держись, моя хорошая, я скоро приеду». Потом разворачивается и быстро, не оглядываясь, идет к автобусу. Я стою и смотрю, как автобус, чихая выхлопной трубой, разворачивается, как медленно уползает по еловой аллее, как исчезает за поворотом,

оставляя за собой только сизый выхлоп.

Игнат стоит рядом, присвистывает.

— Ну вот и началось. Добро пожаловать в реальность.

— В какую реальность? — спрашиваю, глядя на опустевшую дорогу.

— А хрен ее знает, — усмехается он. — Сейчас и узнаем.

— —

Нас заводят в главный корпус. Внутри пахнет масляной краской, хлоркой и еще чем-то неуловимо медицинским, тревожным, как в районной поликлинике, где пахнет не лекарствами, а самой болезнью. Полы выложены серой, казенной плиткой, стены выкрашены в унылый, больничный бледно-зеленый — цвет тоски, от которого неудержимо хочется спать. Лампы дневного света под потолком противно жужжат, как раздраженные, огромные шмели, запертые в стеклянной банке.

В холле — несколько старых, продавленных диванов, обитых дешевым кожзамом, и стойка регистрации, за которой сидит еще одна женщина в неизменном белом халате. Елена Сергеевна собирает нас, новоприбывших, в тесный кружок.

— Итак, ребята, — начинает она тем же бодрым, жизнерадостным голосом, от которого у меня сводит скулы. — Добро пожаловать в наш центр. Сейчас вы пройдете первичный медицинский осмотр, затем получите форму и распределение по комнатам. Прошу сдать все ценные вещи: телефоны, планшеты, наушники, любые электронные устройства. Это

временная мера, не пугайтесь. У нас здесь практикуется полное погружение в процесс. Чем меньше отвлекающих факторов, тем глубже и эффективнее будет ваша работа над собой.

Одна девушка, та самая, с огромным розовым чемоданом, робко поднимает руку.

— А если мне очень нужно будет позвонить маме? У нее давление, она сильно волнуется, когда меня долго нет.

— Раз в три дня у вас будет возможность совершить звонок, — терпеливо, как нашкодившим первоклашкам, объясняет Елена Сергеевна. — А в экстренном случае мы свяжемся с родителями сами. Не переживай, Аня.

Аня. Я смотрю на нее внимательнее. Маленькая, худенькая, почти прозрачная, с огромными, испуганными глазами и светлыми волосами, стянутыми в жиденький хвостик. Она нервно кусает губы и теребит край своей кофты. Выглядит затравленной, но изо всех сил старается держаться, не раскисать.

— А что за форма? — спрашивает коренастый парень с короткой стрижкой, похожий на начинающего качка.

— Удобная одежда для тренировок, — улыбается Елена Сергеевна. — Обычные спортивные костюмы, футболки. Ничего особенного. Это делается для того, чтобы уравнивать всех участников и убрать лишние социальные различия.

«Уравнивать». Слово царапает изнутри, как заноза. Как будто мы винтики в огромной машине, которые должны стать одинаковыми, взаимозаменяемыми.

Нас проводят по бесконечному коридору в медицинский кабинет. Очередь двигается черепашьям шагом. Я сижу на жестком, неудобном стуле и тупо разглядываю стены. На них через равные промежутки развешаны яркие, кричащие плакаты: «Ты уникален!», «Поверь в себя!», «Каждый имеет право на счастье!». Улыбающиеся, нарисованные дети смотрят на меня с этих плакатов, и их фальшивая, пластмассовая радость так не вяжется с серыми стенами и тяжелым запахом хлорки, что становится почти смешно.

— Калинина Варвара? — вызывают меня, наконец.

Захожу в кабинет. Там сидит женщина в очках, с короткой, строгой стрижкой, в белом халате, надетом поверх теплой водолазки. Перед ней — монитор компьютера, на столе аккуратная стопка бумаг, пахнет спиртом и еще чем-то лекарственным.

— Присаживайся, — она кивает на кушетку, застеленную белой бумагой. — Я Анна Борисовна, врач. Сейчас мы быстренько тебя посмотрим. Давление, рост, вес, стандартная процедура. Не бойся.

Я не боюсь. Я вообще ничего не чувствую.

Она методично измеряет мне давление, слушает легкие холодной трубкой стетоскопа, заглядывает в горло, просит разуться и встать на напольные весы. Я выполняю все команды механически, как хорошо запрограммированный робот.

— Ну что ж, физически вполне здорова, — констатирует она, заполняя карту. — Хорошо. Теперь пара вопросов. Ты

куришь?

— Нет.

— Алкоголь пробовала?

— Пробовала.

— Регулярно употребляешь?

— Нет.

— Отлично. Какие-нибудь препараты принимаешь в данный момент? Успокоительные, антидепрессанты, снотворное?

— Нет.

Она поднимает на меня глаза поверх очков. Взгляд у нее цепкий, профессиональный, изучающий.

— А должна бы? — спрашивает вдруг, и в голосе проскальзывают странные нотки.

Я не сразу понимаю вопрос.

— В смысле?

— Ну, — она откладывает ручку в сторону, — твоя мама в анкете подробно описала твоё состояние: апатия, полная потеря интереса к жизни, проблемы со сном. Это соответствует действительности?

— Наверное.

— «Наверное» или «да»? — в голосе появляется легкое, едва уловимое раздражение. — Ты сама-то как считаешь? Тебе виднее.

Я молчу. Потому что как я могу «считать»? Я не считаю. Я просто существую в этом состоянии, как рыба в воде, ко-

торая не знает, что такое суша.

— Варя, — Анна Борисовна вздыхает, снимает очки, трет переносицу. — Я здесь не враг тебе. Я врач. Чтобы иметь возможность тебе помочь, мне нужно понимать, что с тобой на самом деле происходит. Расскажешь?

Смотрю на нее. У нее усталые, чуть покрасневшие глаза и мелкая сеточка морщин вокруг губ. Она, наверное, неплохой врач. Может быть, даже хороший. И правда хочет помочь. Но как я расскажу? Как объяснить другому человеку, который живет в мире чувств, что такое — совсем ничего не чувствовать?

— Я не знаю, что со мной, — выдавливаю из себя наконец. — Просто... пусто там. Внутри пусто.

Она кивает, словно ожидала чего-то подобного, и снова что-то быстро записывает в карту.

— Давно это продолжается?

— Несколько месяцев. Может, полгода уже.

— Триггер был? — она снова смотрит на меня в упор. — Что-то конкретное случилось? Стресс, потеря, конфликт?

Я лихорадочно перебираю в памяти последние полгода, пытаюсь нащупать хоть что-то, что могло бы стать причиной. Ничего. Никаких катастроф, трагедий, потрясений. Просто однажды утром проснулась — и все.

— Нет, — говорю глухо. — Ничего такого не было.

Анна Борисовна смотрит на меня еще долгих несколько секунд, потом снова надевает очки и откладывает ручку.

— Ладно. Здесь работают очень хорошие психологи, Вая. Квалифицированные специалисты. Они обязательно помогут тебе разобраться в себе. А пока — иди оформляйся. Удачи тебе.

Я выхожу из кабинета. В коридоре по-прежнему очередь, сидят другие, ждут своей участи. Игнат развалился на стуле, насвистывает какой-то бравурный мотивчик. Увидев меня, подмигивает.

— Ну как, признали годной к строевой?

— Признали, — отвечаю без выражения.

— А меня, наверное, забракуют, — он довольно скалится.

— У меня тату есть, несовершеннолетним вроде как нельзя по закону. Но я сделал, плевать хотел на их законы.

Он закатывает рукав худи и демонстрирует дракона, криво вытатуированного на предплечье. Рисунок любительский, явно домашней работы, линии неровные, краска местами расплылась.

— Сам делал? — спрашиваю без особого интереса.

— Ага, собственноручно, иглой и тушью. Глупо, конечно, по-дурацки получилось, но хотелось, понимаешь? — он смотрит на свое творение с какой-то странной нежностью. — Когда тело свое собственными руками разрисовываешь, оно как-то... твоим становится, что ли.

Я смотрю на этого кривого, несуразного дракона. Он уродливый, но живой. Игнат вложил в него что-то очень личное, когда сидел и выводил эти линии под кожей. Чувствовал

что-то в этот момент. А я даже рисовать перестала, потому что не чувствую вообще ничего.

— Смирнов Игнат! — вызывают из кабинета.

Он встает, на ходу подмигивает мне еще раз и скрывается за дверью с табличкой «Медпункт». Я остаюсь одна в пустом коридоре. Сажусь на тот же стул, смотрю на плакат напротив. «Ты уникален!» Уникален. А если твоя уникальность заключается в том, что ты пустой внутри, как выдолбленная тыква? Это вообще считается?

— —

После медосмотра нас ведут на склад получать форму. Огромная комната, заставленная стеллажами до самого потолка, на которых аккуратными стопками лежат одинаковые свертки. Выдают плотный полиэтиленовый пакет с вещами: серые, бесформенные спортивные штаны, серая футболка, серая толстовка на молнии, белые носки, белые кроссовки с липучками. Все новое, фабричное, жесткое на ощупь, пахнет резиной и чем-то синтетическим.

— Переодеваемся, свои вещи сдаем сюда! — командует полная женщина-куратор с громким, начальственным голосом. — Все личное подписываем и сдаем в камеру хранения. Ценности, украшения, часы — тоже туда. Ничего не оставляем!

Я смотрю на свою одежду, в которой приехала. Любимые, выношенные до дыр джинсы, которые стали мягкими, как вторая кожа. Теплый, уютный свитер, который связала мне

бабушка (она умерла три года назад, но свитер до сих пор хранит ее запах, и когда я в него зарываюсь, мне кажется, что она рядом). Я должна сдать это все. На три долгих, бесконечных недели.

— Быстрее, быстрее, не копаемся! — подгоняет куратор, постукивая ручкой по столу.

Я захожу в тесную кабинку для переодевания. Ткань казенной формы колется, штаны велики и болтаются мешком, футболка висит безобразно, как на вешалке. Смотрю на себя в маленькое, мутное зеркало, приклеенное к стенке кабинки. Из зеркала на меня смотрит серая, бесформенная фигура без признаков пола и возраста. Лицо бледное, глаза пустые. Я сливаюсь со стенами, становлюсь частью этого серого, безликого мира.

— Готова? — кричат снаружи нетерпеливо.

Выхожу, несу свою родную одежду в охапке, как убитого ребенка. Ее забирают, грубо заворачивают в целлофановый пакет, клеят бумажку с моей фамилией и уносят в недра склада. Все. Прощай, бабушкин свитер. Прощай, моя прежняя жизнь. Там, в этом пакете, осталось все, что связывало меня с домом.

Нас ведут в жилой корпус. Коридоры здесь такие же бесконечные, как и везде, с рядами одинаковых дверей через равные, унылые промежутки. Останавливаются у одной из них.

— Здесь твоя комната, — куратор кивает мне. — Соседка

уже заселилась, знакомьтесь.

Захожу внутрь. Комната маленькая, тесная, на двоих. Две железные кровати с тумбочками, два встроенных шкафа-купе, письменный стол у зарешеченного окна. На одной из кроватей уже сидит Аня — та самая девушка с розовым чемоданом. Она тоже переделалась в казенную серую форму и без своего яркого чемодана стала совсем незаметной, почти призрачной.

— Привет, — говорит она тихо, смущенно улыбаясь. — Я Аня.

— Варя.

Я плюхаюсь на свою кровать. Пружины жалобно скрипят, прогибаются. Матрас тонкий, жесткий, как фанера. На подушке аккуратно сложены выстиранная простыня и колючее казенное одеяло в пододеяльнике. Надо застилать, обустриваться. Надо делать хоть что-то. Но я просто сижу, как чурбан, и смотрю в окно. Там, за решеткой (зачем здесь решетки, первый этаж ведь, для безопасности, наверное), виднеется клочок серого, свинцового неба и черные, голые верхушки елей.

— Ты в первый раз в таких местах? — робко нарушает тишину Аня.

— Ага.

— Я тоже, — она замолкает на секунду, потом добавляет совсем тихо: — Страшновато немного.

Поворачиваюсь к ней. Она теребит край казенного одея-

ла, смотрит в пол. Глаза у нее огромные, влажные, как у загнанного зверька.

— Не бойся, — говорю механически. Голос звучит плоско, безжизненно, но Аня, кажется, не замечает.

— Тут говорят, психологи очень хорошие работают, — продолжает она, словно пытаюсь убедить саму себя. — Помогают. Мама сказала, что я должна проработать свои страхи и научиться общаться с людьми. Я очень стеснительная, понимаешь? Мне трудно с новыми людьми, страшно. А здесь, наверное, научат, помогут.

— Наверное.

— А у тебя что? — Аня смотрит на меня с живым, неподдельным интересом. Ей и правда интересно, она не просто так спрашивает, для проформы. Она хочет общаться, хочет дружить, верит, что здесь ей помогут. А я?

— У меня... пустота, — выдыхаю я, глядя в окно. — Внутри пусто. Даже не знаю, как объяснить.

Аня кивает, хотя по ее лицу видно, что она не совсем понимает, о чем я.

— Это, наверное, тоже проблема, — говорит она серьезно. — Раз ты здесь.

— Наверное.

Снова замолкаем. Я опять смотрю в окно, на серое небо и голые ветки. Аня возится с простынями, пытаюсь хоть как-то заправить кровать. У нее ничего не выходит, простыня комкается, сползает. Я сижу и тупо наблюдаю за ее мучениями.

Надо бы помочь, подсказать. Раньше я бы помогла. А сейчас — просто сижу и смотрю.

В коридоре неожиданно раздается резкий, противный звонок, как в школе. Мы обе вздрагиваем. Потом голос из динамиков, усиленный, гулкий: «Всем построиться в холле первого этажа через десять минут. Первое организационное собрание. Опоздавшие будут наказаны».

Аня испуганно смотрит на меня.

— Это всегда так будет? — шепчет она.

— Наверное.

Встаю, машинально одергивая безобразную серую форму. Бесформенная, как я.

— Пойдем? — спрашиваю у Ани.

Она быстро кивает, кое-как набрасывает простыню на матрас, и мы выходим в коридор. Там уже течет людской поток — такие же серые, безликие фигуры, одинаковые, как солдатики. Я вливаюсь в этот поток и вдруг с ужасающей ясностью понимаю: вот оно. Я стала частью конвейера из моего страшного сна. Тем, кого везут.

И в этом есть что-то почти успокаивающее. Потому что когда ты — всего лишь деталь на бесконечной ленте, можно ни о чем не думать. Можно ничего не чувствовать. Просто двигаться в такт со всеми, подчиняясь общему ритму.

Мы входим в холл. Нас рассаживают на пластиковых стульях, расставленных ровными рядами. Впереди — небольшая сцена с трибуной. На стенах снова эти дурацкие, крича-

щие плакаты. «Твой успех в твоих руках!», «Стань лучшей версией себя!». Яркие краски больно бьют по глазам.

На сцену выходит высокий мужчина, импозантный, с благородной сединой на висках, в строгом, дорогом костюме. Лицо у него гладкое, без единой морщинки, как у пластиковой куклы. Он широко, ослепительно улыбается, но глаза его остаются холодными, изучающими, как у рептилии.

— Добрый вечер, дорогие ребята, — начинает он, и голос у него глубокий, бархатный, поставленный, заполняет собой весь холл, проникает в каждую клеточка. — Меня зовут Виктор Андреевич, я основатель и бессменный руководитель центра «Новая Я». От всей души рад приветствовать вас в нашем небольшом, но очень уютном и, смею надеяться, продуктивном мире.

Он делает эффектную паузу, медленно обводя взглядом застывший зал.

— Вы здесь не просто так, поверьте. Вы здесь потому, что в вашей жизни наступил тот самый момент, когда все старое перестало работать. Старые модели поведения, старые эмоциональные реакции, старые, привычные способы быть счастливым — все это дало трещину, рассыпалось в прах. И знаете что? Это абсолютно нормально. Это не катастрофа. Это — огромная возможность. Шанс построить себя заново.

Я слушаю его голос, и он меня гипнотизирует, завораживает, как удав кролика. Он говорит так уверенно, так гладко, так правильно. Кажется, что он и вправду знает, о чем гово-

рит. Что он и вправду может помочь.

— Здесь, в стенах «Новой Я», мы поможем вам пересобрать себя по кирпичику, — продолжает он, расхаживая по сцене. — Представьте, что вы — сложнейший, тонко настроенный механизм. Некоторые детали в этом механизме износились, некоторые — сломались окончательно, некоторые — просто не подходят, они чужеродны. Мы аккуратно разберем вас на составные части, проведем глубочайшую диагностику, заменим все, что мешает вам нормально функционировать. И соберем вас заново. Новую версию вас. Лучшую, совершенную версию.

«Пересобрать». «Разберем на части». Слова эти гулко отдаются в голове, падают в пустоту, как камни в глубокий колодец. Я вспоминаю свой сон про конвейер, про безжалостные механические руки, и мне становится по-настоящему холодно, хотя в холле натоплено.

— Процесс этот будет непростым, я вас сразу предупреждаю, — голос Виктора Андреевича становится проникновенным, почти отеческим. — Будет больно. Будет страшно. Но только пройдя через эту боль и этот страх, вы сможете, наконец, стать теми, кем должны быть по праву рождения. Мы не обещаем вам легких путей. Мы обещаем вам гарантированный результат.

Он снова улыбается своей пластмассовой, безупречной улыбкой. Зал молчит, замороженный. Кто-то рядом со мной нервно шмыгает носом. Аня вцепилась в подлокотники по-

белевшими пальцами и смотрит на сцену с какой-то болезненной смесью надежды и животного ужаса.

— А теперь идите ужинать, знакомиться, обживаться на новом месте, — Виктор Андреевич делает широкий, приглашающий жест. — Завтра с утра начнется ваша новая, настоящая жизнь. — Он выдерживает театральную паузу и добавляет совсем тихо, почти по секрету: — Добро пожаловать домой, ребята. Домой к себе настоящим.

Всё вокруг приходит в движение, встает, шумит, двигается к выходу. А я сижу, как пришибленная, не в силах пошевелиться. «Домой к себе настоящим». А если меня настоящей — нет? Если есть только липкая, серая пустота и бесконечный снегопад внутри? Что тогда со мной сделают здесь? Найдут способ заполнить эту пустоту чем-то другим? Или просто признают окончательно бракованной и отправят в утиль?

Игнат, проходя мимо, дергает меня за рукав толстовки.

— Эй, Варя, вставай, заснула, что ли? А то без ужина оставят, нам же еще силы нужны для перековки.

Я встаю и плетусь за ним. В коридоре светло,людно, шумно. Все галдят, обсуждают, знакомятся. А я плыву в этом людском море, как слепая рыба в мутной, илистой воде.

— Ну и цирк, — цедит Игнат сквозь зубы, оглядываясь по сторонам. — «Пересобрать себя». Прямо фабрика какая-то по производству людей. Интересно, нас тут в конце в роботов превратят или как?

Я смотрю на него. Он криво усмехается, но в глазах у него

тоже затаилась тревога. Просто он привык прятать все за этой дурацкой, циничной броней.

— А если и вправду превратят? — спрашиваю, сама не зная зачем.

— Тогда будем самыми крутыми роботами в этом гадюшнике, — он усмехается еще шире. — С драконами на плече и полным отсутствием мозгов.

Мы заходим в столовую. Здесь пахнет едой — приторно-знакомо, гречкой и подгоревшими котлетами. Длинные ряды столов, за ними сидят такие же серые люди в такой же серой форме, жуют, переговариваются вполголоса. Я беру поднос, беру еду — мне все равно что, лишь бы заполнить тарелку, — и сажусь за первый попавшийся свободный стол. Игнат плюхается напротив. Аня робко пристраивается рядом.

Смотрю в тарелку. Гречка, котлета, стакан мутного компота. Обычная, стандартная еда. Но я не чувствую голода. Просто механически подношу ложку ко рту, жую, глотаю. Вкуса почти нет, одни рецепторы.

— Невкусно? — участливо спрашивает Аня.

— Нормально, — пожимаю плечами.

— А мне вкусно, — она робко улыбается. — Я вообще мало где была, в лагерях никогда. Для меня тут все новое и интересное.

— Радуйся, пока не началось, — Игнат отправляет в рот целую котлету, чавкает. — Завтра начнут нас «пересоби-

рать». Посмотрим, что это за хрень такая.

Я доедаю безвкусную гречку, запиваю компотом. Смотрю в окно столовой. Там уже совсем стемнело, и в этой густой темноте светятся только желтые прямоугольники окон корпусов да редкие фонари на центральной аллее. Лагерь «Новая Я». Место, где мне должны помочь найти себя. А я сижу и думаю: а надо ли оно вообще, это «себя»? Может, проще и легче быть пустой, безликой, ничьей? Может, эта пустота и есть моя единственная, настоящая суть?

Мы идем в комнату. Аня быстро засыпает — она вымоталась за день, нанервничалась, набегалась. А я лежу на жесткой, скрипучей кровати, смотрю в потолок, по которому, как и дома, пляшут беспокойные тени от уличных фонарей. И слушаю тишину. Здесь она другая, не домашняя. Здесь она звенит, гудит, давит.

И в этой чужой, давящей тишине я снова слышу свой внутренний голос, который не дает покоя, который шепчет, что я пустая, бракованная, никчемная. Но сейчас он шепчет тише, чем обычно, словно устал. Может быть, потому что вокруг столько новых, непривычных впечатлений, что даже пустота немного отступает, теряется. Или потому что я слишком вымоталась, чтобы прислушиваться к нему.

Завтра все начнется. Завтра меня будут пересобирать. Закрываю глаза и изо всех сил стараюсь представить, что я — не человек, а механизм. Меня аккуратно разбирают на части, чистят, смазывают, меняют сломанные детали. И когда

собирают заново, я вдруг чувствую... что-то смутно-теплое, отдаленно похожее на надежду.

Но это, скорее всего, просто сон. Усталость играет со мной злые шутки.

Глава 4. Первичный отсев

Меня выдергивают из сна, как морковку с грядки — без жалости, грубо, решительно. За окном еще ни намека на рассвет, только густая, непроглядная темень, которую даже не пытаются разбавить редкие фонари. В коридоре грохот, топот, хлопанье дверей, и этот противный, усиленный динамиками голос врывается в уши, разрывая остатки сонного оцепенения: «Подъем! Через тридцать минут общее построение в холле. Опоздавшие останутся без завтрака. Повторяю: опоздавшие останутся без завтрака!»

Аня уже вскочила, заметалась по комнате, как угорелая, на шаривая ногами тапки.

— Варя, вставай скорее! — она трясет меня за плечо, и голос у нее тонкий, испуганный. — Опоздаем же, слышишь? Без завтрака оставят!

С трудом разлепляю веки. Тело ломит так, словно я не спала, а всю ночь разгружала вагоны с углем. Голова чугуная, мысли вязкие, как патока. Но я встаю. Послушно, как солдат по команде «встать». Потому что надо. Потому что так здесь положено. Потому что выбора, кажется, больше нет.

В холле уже яблоку негде упасть. Все в одинаковой серой, мешковатой форме, сонные, взлохмаченные, с опухшими со сна лицами. Кто-то отчаянно зевает, прикрывая рот ладо-

нюю, кто-то трет глаза кулаками, кто-то уже всюду перешептывается, знакомится, обменивается первыми впечатлениями. Нас выстраивают в шеренги, как новобранцев в казарме. Кураторы в белых халатах снуют между рядами, пересчитывают, сверяются со списками в планшетах, делают пометки.

— Так, внимание! — Елена Сергеевна громко хлопает в ладоши, привлекая всеобщее внимание. — Сейчас организовано идем на завтрак. После завтрака — обязательные медицинские процедуры и первое психологическое тестирование. Сегодня очень важный день, ребята. Мы начнем по-настоящему, глубоко знакомиться с каждым из вас.

«По-настоящему». Интересно, что скрывается за этим сладким словом? Какие такие «настоящие» знакомства нас ждут?

В столовой на завтрак дают жидкую, мутную кашу, отдающую мыльной пеной. Каша безвкусная, но горячая, пар так и валит от тарелки. Я ем механически, глядя в одну точку на стене. Напротив сидит Игнат, с брезгливым видом ковыряется ложкой в своей порции, словно ожидая увидеть там что-то живое.

— Слыхали новость? — говорит он вполголоса, наклоняясь ко мне. — Сегодня это самое тестирование. Говорят, психологические тесты замороченные, а потом — распределение по группам.

— По каким группам? — Аня смотрит на него с любопытством и тревогой.

— По поломкам, надо полагать, — усмехается Игнат. — Кто социофоб — в красный угол, кто агрессивный — в синий, кто просто дурак — в желтый.

— Сам ты дурак, — бурчит парень за соседним столом, тот самый коренастый спортсмен с короткой стрижкой. — И вообще, чего ты тут умничаешь, если сам сюда попал?

— А я здесь, потому что у меня родители — законченные идиоты, — парирует Игнат без тени обиды, скорее даже с удовольствием. — А вовсе не потому, что со мной самим что-то не так.

— Со всеми, кто сюда попал, что-то не так, — раздается тихий, бесцветный голос справа.

Я поворачиваю голову. Девушка, которую я раньше не замечала в общей массе. Темные, почти черные волосы закрывают половину лица, под глазами — глубокие, синюшные тени, губы закушены в нитку. Она сидит совершенно одна, чуть поодаль от всех, и смотрит в свою тарелку невидящим взглядом.

— Ты откуда знаешь? — Игнат сразу цепляется за ее слова.

— Потому что нормальных сюда не отправляют, — отвечает она все так же ровно, не поднимая головы. — Нормальные сидят дома, в школу ходят, с друзьями гуляют. А мы все здесь — бракованные.

Слово это врезается в меня, как острый осколок. Бракованные. Я сама так про себя думала сотни раз, но слышать

это со стороны, от почти незнакомого человека, — странно и больно. Как будто мы все здесь собрались, чтобы подтвердить страшный диагноз: да, мы не такие, как все, мы сломанные, дефектные, и нас будут чинить, перебирать, собирать заново, как старые часы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.